

Василий Давыдов и судьбы нашей теории

Ласло Гараи

*...резкая тоска
стала ясною, осознанною болью.*

Владимир Маяковский

Удастся ли облечь в слово боль, которая присоединяется к боли родных, к тоске друзей, к скорби единомышленников?

Я познакомился с Василием Васильевичем...

Сразу надо оговориться: Василием Васильевичем для меня он пробыл всего часов десять, а потом стал Васей Давыдовым, кем и оставался вплоть до того мартовского дня, когда на меня свалилась весть из Москвы о его смерти.

Итак, я познакомился с Васей в 1964 году 12 мая. В тот день на мою долю выпало двойное знакомство с ним. Утром знакомился с ним заочно, посетив московскую школу № 91, где каждый раз, когда меня пленял урок математики в первом классе, чаровал урок грамматики во втором, мне говорили: это Василий Васильевич Давыдов. Вечером после Давыдова-легенды я познакомился с Давыдовым-реальностью; нас знакомил на квартире Ильенкова Юра Давыдов, и мы целый вечер спорили. Спорили, конечно, о судьбах психологии.

В эту мою первую командировку в советскую психологию я вел дневник, а когда двадцать пять лет спустя я его опубликовал, то был удивлен: уже на третьей неделе моего пребывания, имея опыт занимательных (и порою даже больше, чем просто занимательных), но все же чинных бесед с Петром Яковлевичем и с Алексеем Николаевичем, с Васей мы сразу же нашли для спора такие проблемы, которые были самыми фундаментальными для нашей теории тогда и которые четверть века спустя так и остались фундаментальнейшими нерешенными проблемами. В частности, мы поставили вопрос: можно ли утверждать, что потребность, подобно вообще всему психическому, развивается в деятельности, если при этом деятельность определяется для нас своим мотивом, являющимся не чем иным, как опредмеченной потребностью?

Вообще, сопоставление реальности с легендой оставляет мало шансов для первой. Я же унес об этом дне нашего двойного знакомства впечатление, что Давыдов-реальность еще лучше, чем Давыдов-легенда. Я почти обо всем, о чем бы мы ни говорили тогда, думал, как он. Но он почти обо всем говорил свободнее или с большим дерзанием, нежели я. Уже позже, в 70-е годы, когда мы с ним стали друзьями, это дерзновение в нем меня не раз восхищало. Однажды он вошел в троллейбус и вдруг заметил меня, стоявшего в нескольких метрах от него в толпе пассажиров, через головы которых он окликнул меня, чтобы поделиться своим самым свежим интеллектуальным опытом, спросив звонким, хорошо слышимым (и далеко не только мне одному) голосом, читал ли я... и назвал новинку самиздата. Когда же я ответил отрицательно, он мне велел немедленно прочесть объект нашего публичного обсуждения и еще добавил: «Ты можешь взять его у меня». Причем брежневский застой был в полном разгаре, а Вася ведь являлся директором института.

А когда Давыдова смещали с директорства, то его реестр преступлений содержал пункт о том, что он поддерживал контакты с «невозвращенцем» Л. Гараи. Правда, Л. Гараи никаким невозвращенцем не был, но Вася не мог знать того, что в те времена вообще считалось немислимым: я обрел официальное позволение властей заниматься экспортом культурных услуг во Францию, в Университет Ниццы. Географическое местоположение университета располагало к легкомыслию. И когда я легкомысленно послал одному доброму приятелю в Москву краткое, в рамках открытки со Средиземного моря, сообщение о том, что я, мол, стал профессором этого университета, тот не поленился доложить об этом куда следовало. Из этого и было сделано заключение, что я невозвращенец. Этому человеку его поступок я в упрек не ставлю: он действовал согласно законам места и времени. Однако на фоне памяти об этих самых законах не забываю о том, что Вася Давыдов следовал своим законам и, будучи извещен таким же коротким текстом такого же несерьезного стиля об изменении моего местонахождения, не только не порвал публично контактов с «невозвращенцем Л. Гараи», но активно поддерживал публикацию его статьи в «Вопросах психологии». Степень риска в этом случае всем нам известна.

Но следовать не чужим, а своим законам он дерзал и тогда, когда степень риска никому не была известна. 90-е годы — пора отмежеваний. Однажды мы с Васей рассказывали друг другу о том, как тот или иной знакомый нам человек бросался отмежевываться не от режима, который его в свое время поставил на пост ученого, а от Маркса. «Маркс на вечные времена занял свое достойное место в мусорном ящике истории», — изрек один маститый докладчик с трибуны международной научной конференции в Москве при жидких, но все-таки аплодисментах себе подобных. Другой из той же породы хотел «выпалывать» из текстов Л. С. Выготского все абзацы со ссылками на Маркса, чтобы «восстанавливать авторский текст», как он был бы написан, не разжижай его Марксом Л. С. Выготский, мол приспособляясь к современным ему принуждениям.

Сколько требовалось дерзновения, чтобы на фоне такой истерической кампании Василий Давыдов на международной конференции, отметившей столетие Выготского, мог читать доклад о том, какое влияние оказал Маркс на мышление Выготского! Ведь и помимо вышеописанной породы людей можно было встретить таких, которые наотрез отрицали подобное влияние. Я видел и среди настоящих ученых тех, которые убеждали меня, что Выготский был прямой противоположностью человека, о котором в народе говорят: «Смотрит в книгу, а видит фигу»; Выготский, наоборот, даже если «смотрел в фигу», т. е. пусть в того же Маркса, там «видел книгу». По любому поводу у него возникали новые идеи, по которым он мог написать новую книгу, при этом возникшие идеи, в сущности, ничего общего не имели со своим спусковым импульсом.

Василий Васильевич в своем докладе имел в виду, конечно, Маркса не казенного, а настоящего, Маркса-ученого.

И, согласно его аргументам, Л. С. Выготский, кого современники называли «очень образованным марксистом», именно у Маркса, из его теории материального производства, заимствовал свою теорию о знаке как психическом орудии. Использование Л. С. Выготским понятия орудия позволило ему войти в сферу историко-социологической теории деятельности.

А термин «психологическое орудие», возникший у Л. С. Выготского в его «инструментальной психологии», помог ему вырваться из оков натурализма (поскольку таким орудием является знак, постольку орудием этим выступает элемент культурного свободного действия).

Случилось так, что на этой конференции мой доклад последовал за докладом академика Давыдова. Нормально, когда человек знает, что следующим будет выступать он, и в душе подготавливается, переживает, настраивается. Он весь поглощен, — одним словом, ему не до предыдущего доклада. Но рассуждения Василия Васильевича Давыдова на Московском

международном совещании были до того увлекательными, что я совсем забыл о своем собственном волнении, и приглашение председательствующего застало меня врасплох...

* * *

С Василием Васильевичем мы не раз встречались в Москве; виделись в Будапеште, когда он к нам был приглашен лично; в Тбилиси, когда там свершилось чудо и организаторам за семь лет все же удалось «пробить» международную конференцию по бессознательному; в Праге — на другой международной конференции, которая, наоборот, вполне вписывалась в традиции «СЭВовских» конференций, из числа которых это была чуть ли не последняя; в Лахти, когда мы провели второй, уже наш, международный конгресс по теории деятельности; в Риме, где организовали третий. И где бы мы ни встречались с Васей за почти три десятилетия нашей дружбы, мы не переставали поддерживать контакты, которые были одновременно и праздными, и деловыми, а другим могли бы показаться легкомысленными или по-научному тяжеловесными.

Было единственное исключение — Амстердам. Там мы собрались, чтобы преобразовать ИСЧАТ, но при этом имели в виду подготовку московского третьего конгресса. В. В. Давыдов, как президент запланированного конгресса, был в Амстердаме центральной фигурой, обычно такая позиция удешевляла его энергию.

А в Амстердаме от него веяло какой-то совсем не свойственной ему грустью и каким-то неподчеркнутым, но бросающимся в глаза его отсутствием. Я пытался выяснить у него, в чем дело, но он отклонял мои попытки, ссылаясь на какие-то третьестепенные домашние заботы, связанные с перспективой менять квартиру и еще с чем-то. В перерыве работы мы с Владиком Лекторским звали его побродить вместе по каналам и запретным улочкам Амстердама, но он отказался под предлогом, что, мол, прихворнул и собирается передохнуть. Пошли вдвоем, и там Владик рассказал мне трагическую историю смерти Васиной дочери. Я явно и с ужасом почувствовал (сам отец двух дочерей), что после такой истории человек сам кончается. При этом он может функционировать, днем выступать на деловых совещаниях, вечером произносить тосты; только одного не может — выжить.

К самому конгрессу Василий Васильевич, слава Богу, выжил, отыграл у смерти самого себя. Его выступление показало все ту же широту охвата теоретических вопросов нашего ремесла.

В своем письме, которое он написал мне за два месяца до смерти, он на семи страницах изложил, в чем он не согласен с подходом нашей с Маргит Кёчки статьи, вышедшей незадолго до того в «Вопросах философии» (1997, № 4).

* * *

Когда мы в последний раз в жизни обменялись с Васей деловыми письмами, речь в них шла о том же, о чем в тот вечер, который в 1964 году стал началом нашей дружбы.

Однажды я опубликовал в венгерской научной прессе интервью, которое Василий Васильевич дал журналу «Наука и жизнь». Дело было в 1978 году, и В. В. Давыдов говорил, в частности, о том, что самым существенным моментом в человеческой психике является целеполагание, а у естественных наук нет метода для его анализа. Наш брат венгерский психолог тогда себя считал (да в основном и сейчас так же думает) естественником. И поскольку я был убежден и по сей день пребываю в убеждении, что это глубокое заблуждение, я был заинтересован в том, чтобы донести до венгерских психологов то, что говорил Давыдов: в частности, что естественные науки способны трактовать такие детерминационные ряды, в которых настоящее детерминируется прошлым, в психологии же речь идет о таких рядах, где настоящее детерминируется будущим, идеальным образом будущего. При этом, однако, я осознал, что сказанное применимо не к целеполаганию, а к детерминационному эффекту уже положенной цели. А ведь суть вопроса — откуда берется

сама цель в момент его полагания. Об этом в интервью можно было прочитать по-настоящему мудрую шутку античного мудреца о том, можно ли искать, если еще не знаешь, чего искать, и стоит ли искать, если уже знаешь, что ищешь. Но какой бы мудрой ни была эта мысль, она все же остается шуткой.

При этом в ней сосредоточена вся суть. У других «деятельностников» я не встретил даже проблеска идеи о том, что некоторые психические явления просто могут выйти за рамки детерминации вообще.

У А. Н. Леонтьева, например, вопрос решается так: цель полагается не для деятельности, а для действия — действие определяется деятельностью, в рамках которой оно разворачивается, — деятельность, в свою очередь, определяется собственным мотивом — мотив является не чем иным, как опредмечиванием уже наличествующей потребности. Итак, цель определяется предшествующей ей потребностью, в полном согласии с парадигмой естественных наук.

После того как я прочел «Теорию развивающего обучения» Давыдова, как-то мы стали выяснять соотношение наших теорий. Мы сразу сошлись на том, что оба отвергаем естественнонаучную психологию в пользу гуманитарной. Но он тут же оговорился: гуманитарной, т. е. антиестественнонаучной. В своем полемическом письме ко мне, повторяя это «то есть», он заключил в кавычки «антиестественнонаучную». Но все же наш подход (мой и моих сотрудников) отличался от подхода Василия Васильевича (и, вообще, части русской психологии): мы никак не считаем (стало быть, даже в кавычках не считаем) гуманитарную психологию антиестественнонаучной, поскольку по нашей философской логике противостоят друг другу не природа и человек, а природа и дух, человек же посередине в равной мере противопоставляет себя и той, и другому. Трагизм психологии (или ее апофеоз) в том и задан, что все без исключения психические процессы сопряжены с процессами и в индивидуальном головном мозгу, и в надындивидуальной культуре. Однако психология далеко не всегда объясняет, как мозг и культура, в свою очередь, могут через посредство психики сопрягаться друг с другом.

В этом смысле мы и говорим о новом кризисе психологии, расколовшейся на полунауку «мозговиков» и полунауку «культурников»; а также в этом смысле утверждаем, что Л. С. Выготский теоретически задает возможность воссоединения этих двух полунаук. Об этом мы с Маргит Кёчки писали в статье, которую Вася оспаривал: «Выготский, хотя и «метался» между естествознанием и гуманитарией, но как подлинный марксист все же в существе своей концепции остался гуманитарием. «Синтеза» двух психологий у него не случилось, в последние годы у него фактически от начала и до конца была общественная, культурно-историческая психология» (курсив В. Д. — Л.Г.).

Пока Василий Васильевич по этому поводу спорил со мной, я был с ним согласен (и мой соавтор тоже). Да, Л. С. Выготский — это стопроцентный гуманитарий, и нелепо ему приписать какой бы то ни был синтез гуманитарной психологии и естественнонаучной. Но мы так считаем именно потому, что для нас одна из этих двух — гуманитарная психология уже представляет собой синтез двух наук: науки, отражающей природное начало, и науки, отражающей духовное начало. Это, конечно, синтез гегелевского типа, отрицательный синтез, но именно синтез, в котором в одинаковой мере присутствуют (или, если хотите, в одинаковой мере отсутствуют) *Naturwissenschaft*, и *Geisteswissenschaft*, и наука о природе (в частности, о головном мозге), и наука о духе (в частности, о культуре). Мы имеем в виду в нашей статье синтез мозгового и культурного аспектов, который был у Л. С. Выготского. Поэтому и стало возможным, чтобы это «хорошо понимал такой «естественник» в психологии, как Лурия», как на это справедливо указывает в своем письме В. В. Давыдов (ссылаясь на посмертно опубликованную статью А. Р. Лурии в «Вопросах философии», 1979).

По этому поводу между нами могла бы развернуться интересная полемика. Вася (со свойственной ему иронией) обратил бы мое внимание на будто бы не замеченную нами

асимметрию: головной мозг, мол, имеется не только у человека, но и у существ дочеловеческой природы, но о какой культуре может идти речь у существ дочеловеческого же духа? Конечно, домысел о каком бы то ни было существовании дочеловеческого духа лет пятнадцать тому назад представился бы кощунством (и, конечно, не только для казенного, предписанного мышления, но и для нашего с Васей, аутентичного). Однако теперь в полемическом письме Василия Васильевича читаю: «...в начале XX века у нас возникла религиозная философия человека (Булгаков, Бердяев, Лосский, Флоренский, Лосев), которая особенно популярна сейчас — эта философия стала основой возникновения у нас «христианской психологии» (Братусь, Нечипоров, Слободчиков, Рубцов; не чужд некоторым ее идеям и «нынешний» Зинченко). В самое последнее время религиозное истолкование человека заинтересовало и меня, поскольку я чувствую, что собственно «научная», т. е. сциентистская (или позитивистская), психология не может «схватить» в человеке очень многое».

В ответ я мог бы признать, что по аналогичным мотивам у нас тоже произошел сдвиг в сторону признания за духом своеобразного онтологического статуса, но, вместо того чтобы прийти к «религиозному истолкованию человека», мы пришли к формуле о человеке, который в равной мере противопоставляет себя и природе, и духу. Что же касается вопроса о симметричности этих двух миров относительно головного мозга существ дочеловеческой природы и культуры существ дочеловеческого духа, я мог бы парировать реплику Васи, указав на двуликость культуры. Культура, с одной стороны, наследование прошлой истории, а с другой — сотворение для будущей истории. Конечно, унаследование, традицию, освоение трудно осмыслить применительно к дочеловеческому духу; тем легче, однако, осмыслить сотворение (насколько я, пребывающий без минимальных знаний по богословию, могу судить).

Другое дело, что теория деятельности, осмысливая все богатство первого аспекта культуры, по сей день не знает, что делать с аспектом творчества. В этом отношении Василий Васильевич пошел дальше любого отечественного представителя теории деятельности. Выше я уже процитировал его высказывание о том, как он восстал против естественнонаучных детерминационных рядов, в которых настоящее детерминируется прошлым. Так вот, он никак не мог бы вечно оставлять незамеченным то, что культура, осваиваемая индивидом, действует на его психику именно по такому же детерминационному ряду. Наоборот, чтобы осмыслить творчество, недостаточно переключиться на такой ряд, где настоящее детерминируется будущим, а неизбежно надо выйти за рамки детерминации вообще. Для нашего ума такой выход все еще может представляться кощунством.

А вот в полемическом письме Давыдова я читаю такую ссылку: «Для самого Маркса «труд — положительная творческая деятельность». «Орудие», принадлежащее творчеству, не может быть объектом естественных наук. «Знак» — тем более».

Выглядит это как укоряющее напоминание нам (мне и Маргит Кёчки). Ведь Василий Васильевич не согласен с нами, когда мы, вместо того чтобы рассматривать творчество применительно и к знаку, и к орудию, говорим лишь об интерпретации, противопоставляющей знак орудию. «Кстати, мне осталось непонятным, почему вам очень «не понравилось» положение Леонтьева об «исторически сложившейся системе значений» как якобы исключаящей необходимость «интерпретации». Эта «система значений» (для Леонтьева являющихся идеальным выражением практики) столь же объективна, как и вся культура. Но многогранная объективность значений (и культуры) не исключает интерпретации, а, наоборот, предполагает ее, поскольку «значения», будучи идеально объективными, т. е. надиндивидуальными, затем «усваиваются» и «осмысливаются» разными субъектами, вкладывающими в них порой противоположное индивидуальное «субъективное содержание». Это же реальная основа человеческих диалогов и дискуссий —

иногое понимания «великое» западное слово «интерпретация» для меня не имеет» (курсив В. Д. — Л.Г.).

Для меня, наоборот, именно имеет, а такая разница в рамках общей нашей теории далеко не случайна. Дело в том, что Василий Васильевич применяет эту теорию в рамках развивающего обучения.

В этой практике, даже если все деятельное начало сосредоточено в развиваемом и обучаемом ребенке, всё равно налицо обучающий и развивающий его взрослый, являющийся агентом культуры. Благодаря этому не только культура со своими объективно заданными значениями ограничивает возможность интерпретации, но и наличествующий взрослый, который уже овладел правильно интерпретируемыми значениями и заблаговременно предохраняет ребенка от ловушек неправильной интерпретации. Я применяю ту же самую теорию в рамках экономической психологии, а в экономической деятельности сотрудничают или соперничают такие партнеры, среди которых нет привилегированных по критерию большей близости к культуре. Так что здесь ничьи правильные интерпретации не могут предостеречь от собственных неправильных.

Предполагая выше, что между нами могла бы развернуться интересная полемика о судьбах нашей теории, я имел в виду, в частности, возможность (заодно и обязанность) сравнивать такие структуры, которые коренным образом отличают одну деятельность от другой. К примеру, для экономической психологии типичной является деятельность с такого рода структурой: в экономической реальности происходит сдвиг (например, возросли цены некоторых товаров) — он интерпретируется (например, как разгоняющаяся инфляция) — интерпретация определяет выбор экономического действия (например, траты денег, чтобы предотвратить их обесценивание инфляцией) — экономическое действие повлияет на экономическую реальность (трата денег повышает спрос на рынке) — экономическая реальность приспособливается к интерпретации, которая ей была дана (повышенный спрос, действительно, вызывает инфляцию) — тем самым, вместо того чтобы быть доступной для контроля со стороны представителя культуры, интерпретация создает для себя свое собственное подтверждение.

Деятельность деятельностью, но, оказывается, она по-разному проявляется, в зависимости от своей микро-, а также и макросоциологической структуры: соотносит ли она ребенка со взрослым, или равных между собой взрослых, или равных между собой детей. Все больше накапливается у нас фактов, свидетельствующих о том, что своеобразное, но несомненно развивающее обучение может происходить и тогда, когда взрослый всего лишь задает проблему, а решение находят дети-сверстники, предоставленные самим себе (будь это в лабораторных и полевых экспериментах Анн-Нелли Перре-Клермон или при семейных интеракциях между братьями и сестрами, в лонгитюдных исследованиях Маргит Кёчки).

* * *

Развивающее обучение и экономическая деятельность, интерпретация и творчество, природа, дух и человек со своим индивидуальным мозгом и надындивидуальной культурой — вот некоторые темы, по которым мы собирались продолжить дискуссии. Был разработан проект летней школы по научному наследию Л. С. Выготского, которая должна была способствовать жизненно необходимому осознанию единства этого наследия и многообразия его теоретического осмысления. Летняя школа была задумана так, чтобы перед студентами выступали те исследователи из Восточной и Западной Европы, из Северной и Южной Америки, которые по-новому, по-своему разрабатывают теоретические ответы на фундаментальные вопросы наследия Л. С. Выготского.

И теперь с тоской, болью и скорбью я прикидываю: много ли представителей этой живой породы ученых осталось после смерти Василия Давыдова?